



## К. И. ЧУКОВСКИЙ

### [Воспоминания о Н. С. Гумилеве]

#### I

Другой поэт, привлеченный Горьким к работе во Всемирной литературе, был Николай Степанович Гумилев<sup>1</sup>. Здесь обоим поэтам — Блоку и Гумилеву — очень часто приходилось встречаться. Трудно было представить себе двух столь несхожих людей — по внешности, по талантам, по убеждениям, по литературной судьбе.

Они находились в состоянии перманентной полемики.

С Гумилевым я познакомился задолго до Октябрьских дней.

12 марта 1908 года молодой Алексей Толстой писал мне из Парижа в Петербург:

«...Пользуюсь случаем обратить Ваше внимание на нового поэта Гумилева. Пишет он только в “Весах”, потому что живет всегда в Париже, очень много работает, и ему важна вначале правильная критика...»

Вскоре в том же году Гумилев приехал в Питер и на первых порах я не нашел в нем ничего примечательного.

Он показался мне каким-то церемонным, высокомерным и чопорным. Лицо пепельно-серое, узкое, длинное, на щеках ни кровинки, одет фатовато, на заграничный манер: цилиндр, лайковые перчатки, высокий воротничок на тонкой и слабенькой шее.

Ни в какой моей помощи (как почудилось Алексею Толстому) он в те времена не нуждался. Влиятельный журнал «Аполлон», только что основанный Сергеем Маковским, принял его с распростертыми объятиями. Юный поэт сразу очутился в избранном литературном кругу: Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, Михаил Кузмин и др. приняли его радушно, как равного. Он стал одним из самых приметных сотрудников молодого журнала.

К этому времени он успел напечатать немало стихов, но все его гимны экзотическим ягуарам, носорогам, самумам, пустыням, слонам показались мне на первый взгляд слишком экзотическими, слишком искусственными, хотя я и признавал изощренность их поэтической формы. О том, что эти стихи неспособны, говоря по-старинному, эмоционально воздействовать на душу читателя, Гумилев и сам заявил с огорчением в одном из своих лучших стихотворений того давнего времени — в щемяще-поэтичном «Жирафе», где он безуспешно пытается успокоить, обрадовать, утешить тоскующую петербургскую женщину своим восторженным рассказом о том, что на свете существует красавец жираф, бродящий в джунглях Африки, близ озера Чад:

Ему грациозная стройность и нега дана,  
И шкуру его украшает волшебный узор,  
С которым равняться осмелиться только луна,  
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Но страдающей женщине нет дела до гумилевских жирафов. Взгляд ее по-прежнему грустен. И поэт, не зная других утешений, по-прежнему пытается очаровать ее той же экзотикой:

И как я тебе расскажу про тропический сад,  
Про стройные пальмы, про запах немислимых трав?  
Ты плачешь? Послушай... далеко, на озере Чад  
Изысканный бродит жираф.

Но женщина продолжает рыдать. Меньше всего на земле ей необходимы жирафы. Это стихотворение, где поэт сокрушается о своем литературном бессилии — одно из самых сильных во всей его ранней лирике. Оно предвещало того Гумилева, каким он открылся нам в последний год своей жизни: проникновенного, свободного от всяких посторонних влияний и наконец-то обретшего свой собственный чарующий голос. И странно было думать, что «Жираф» — стихотворение, написанное чуть ли не двадцатилетним юнцом — такое оно зрелое и крепкое.

Я часто встречался с Гумилевым и в театрах, и на выставках картин, и у Сологуба, и на вечерах «Аполлона», и у Вячеслава Иванова, но отношения наши оставались холодными.

В 1912 году я в качестве редактора сочинений Оскара Уайльда, выдаваемых приложением к «Ниве», обратился к Гумилеву с «заказом» перевести терцины английского автора «Сфинкс». Он перевел их умело и быстро<sup>2</sup>. Мы обменялись учтивыми письмами, но сблизились лишь в 1918—1919 годах, когда Горький позвал нас обоих работать в издательстве «Всемирная литература». С той поры мы стали чуть ли не ежедневно встречаться друг

с другом, и на страницах «Чукоккалы» появились его первые стиховые экспромты<sup>3</sup>.

Так на одном из заседаний ученой коллегии, когда специалисты предлагали издательству списки скандинавских, немецких, турецких, испанских писателей, которых, по их мнению, надлежало издать, Гумилев написал в «Чукоккале» такие стихи:

Уже подумал о победе я,  
 Когда читалась нам Норвегия,  
 А ныне горшие страдания:  
 Рассматривается Испания.  
 Но к счастью предстоит нам далее  
 Моя любимая Италия.

Здесь же, на первой странице он набросал небольшую картинку, чрезвычайно характерную для его, гумилевской, тематики: тропические деревья, лев, стая хищных птиц и четыре охотника, из которых один на коне.

Наши добрые чувства друг к другу не раз подвергались суровой проверке. Он, по предложению «Всемирной литературы», перевел одно из самых «колдовских» стихотворений английской поэзии «Балладу о старике-мореходе» («The Ancient Mariner») Кольриджа.

Перевод показался мне слабым. На одном из заседаний нашей ученой коллегии я (в присутствии Горького) выступил с резким осуждением перевода, главным образом за то, что в нем совершенно не передан музыкальный магический стиль гениального подлинника.

Я был уверен, что с этой минуты нашим дружелюбным отношениям конец. Велика же была моя радость, когда через несколько дней Гумилев подарил мне свой перевод «Морехода» со следующей великодушной надписью:

«Дорогому Корнею Ивановичу, на память о его критике моего перевода (нас не поссорившей).

Октябрь, 1919.

Н. Гумилев.»

Эта надпись так взволновала меня, что я немедленно вклеил ее в «Чукоккалу». Здесь было живое свидетельство, что заносчивость у Гумилева — напускная, что это — самозащитная броня против недругов, а в кругу тех, кого он считает своими, он непротивителен, необидчив и прост.

То же случилось и позднее в издательстве З. Гржебина<sup>4</sup>, когда он представил Горькому проредактированный им том стихотворения А. К. Толстого. Я говорил больше часу, отмечая немисли-

мые ошибки редактора, и он опять-таки отнесся к моим «зоилиадам» беззлобно<sup>5</sup>.

В 1920 году мы стали все чаще бывать друг у друга. Обычно он был очень аккуратен, и только однажды пришел не в назначенный час, а гораздо позже. Не застав меня дома, он оставил такую записку, которая нынче тоже хранится в «Чукоккале»:

«Корней Иванович, вчера я предентировал “Абидосскую невесту” (Байрона), перевод И. Козлова \* и когда проснулся, было половина второго. Я решил, что идти к Вам поздно. Если простите меня, посвящу Вам второе издание “Мика”.

Н. Г.<sup>6</sup>»

«Мик» — абиссинская поэма Гумилева, изданная в 1918 году в Петрограде в издательстве «Гиперборей». Гумилев написал ее в молодости. В 1919 году он готовил второе издание поэмы и не раз говорил, что хочет посвятить его мне.

Самое большое его стихотворение в «Чукоккале» вызвано обстоятельствами, о которых уже сказано выше. Один из наших товарищей по «Всемирной литературе», ведающий хозяйственной частью издательства, раздобыл для членов ученой коллегии дрова, причем предложил каждому из нас, литераторов, написать в его альбоме стихи, посвященные этим дровам. Все охотно согласилось. Стихи Блока приводятся в «Чукоккале» на с. 204.

Когда дело дошло до меня, я написал стихи под пародийным заглавием: «Мое гражданское негодование при чтении стихов Блока и Гумилева» (см. «Чукоккалу», с. 205).

Оба поэта ответили мне. Блок через два-три дня (см. с. 206), Гумилев тотчас же, на том же заседании, причем поставил перед собой задачу — сохранить в своем ответном экспромте все до одной мои рифмы в том же порядке, в каком они стоят у меня.

Чуковский, ты не прав, обрушась на поленья,

Обломки божества — дрова,

Когда-то деревьям, близки им вдохновенья,

Тепла и пламени слова.

Береза стройная презренней ли, чем роза?

Где дерево — там сад,

Где б мы ни взяли их, хотя б из Совнархоза,

Они манят.

Рощ друидических теперь дрова потомки

И разумеется в их блеске видел Блок

\* «Невесту Абидосскую» в переводе И. Козлова А. М. Горький рекомендовал для издания во «Всемирной литературе» (прим. авт.).

Волнующую поступь Незнакомки  
От Музы наш паек.

А я? И я во след Колумба, Лаперуза,  
К огню и дереву влеком,  
Мне Суза с пальмами, в огне небес Нефуза  
Не обольстительней даров Петросоюза  
И рай огня дает нам Райлеском.

Р. С. К тому ж в конторе домотопа  
Всегда я встречу эфиопа.

5 ноября, 1919 г.

*Н. Гумилев*

## II

Как-то он позвал меня к себе. Жил он недалеко, на Ивановской, близ Загородного, в чьей-то чужой квартире. Добрел я до него благополучно, но у самых дверей упал: меня внезапно сморило от голода. Очнулся я в великолепной постели, куда, как потом оказалось, приволок меня Николай Степанович, вышедший встретить меня у лестницы черного хода. (Парадные были везде заколочены.)

Едва я пришел в себя, он с обычным своим импозантным и торжественным видом, внес в спальню старинное расписанное матовым золотом лазурное блюдо, достойное красоваться в музее. На блюде был тончайший, почти сквозной, как папиросная бумага — не ломтик, но скорее лепесток серо-бурого, глиноподобного хлеба, величайшая драгоценность тогдашней зимы.

Торжественность, с которой еда была подана (нужно ли говорить, что поэт оставил себе на таком же роскошном блюде такую же мизерную порцию?), показалась мне в ту минуту совершенно естественной. Здесь не было ни прозы, ни рисовки. Было ясно, что тяготение к пышности свойственно Гумилеву не только в поэзии и что внешняя сторона бытовых отношений для него важнейший ритуал.

Братски разделив со мной свою убогую трапезу, он столь же торжественно достал из секретера оттиск своей трагедии «Гондла» и стал читать ее вслух при свете затейливо-прекрасной и тоже старинной лампы.

Но лампада потухла. Наступила тьма и тут я стал свидетелем чуда: поэт и во тьме не перестал ни на миг читать свою трагедию, не только стихотворный текст, но и все ее прозаические ремарки, стоявшие в скобках, и тогда я уже не впервые увидел, какая у него необыкновенная память.

Впоследствии я убеждался в этом не раз. Зимой 1921 года он каждое воскресенье заходил за мной, и мы шли через весь город на Петроградскую сторону к нашей общей знакомой Варваре Васильевне Шайкевич<sup>7</sup>, большой поклоннице его поэзии, и покуда мы шли по пустынному, промозглому, окоченевшему, тихому городу, он всю дорогу читал мне стихи Иннокентия Анненского и свои, новые, сочиненные только что, в последние дни. В ту зиму он создавал их во множестве, порою по несколько в день. Было очевидно, что только теперь его дарование созрело вполне, оставив далеко позади все «Жемчуга» и «Колчаны».

Он помнил эти новые стихи наизусть, помнил даже черновые варианты — и читал эти варианты один за другим, словно они были у него перед глазами.

Я и теперь, когда читаю его «Лес», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай», «Слово», «Память» в его сборнике «Огненный столп», — лучшие из всех, когда-либо написанных им, вспоминаю глуховатый, немного простуженный и совершенно новый для меня голос поэта, каким никогда он не читал своих прежних стихов. В голосе этом уже не было пышной торжественности. Что-то молитвенно кроткое слышалось в той интонации, с которой в «Заблудившемся трамвае» он произносил имя «Машенька», такое русское, никак не вмещавшееся в прежнем его словаре, где полновластно царили такие имена, как Лай-Це, Андромеда, Маб, Семирамида, Лилит.

Машенька, я никогда не думал,  
Что можно так любить и грустить.

Это был новый Гумилев, наконец-то преодолевший холодную нарядность и декоративность своей ранней поэзии.

У Варвары Васильевны он чинно садился в кресло прямой, как линейка (в креслах он никогда не разваливался), и, прихлебывая красное вино, которое каким-то чудом сохранилось у нее от старых времен, вновь прочитывал ей все свои последние стихи. Однажды мы застали у нее А. М. Горького, который незадолго до этого и познакомил нас с нею. Алексей Максимович, умевший слушать чужие стихи с необыкновенным вниманием, веско сказал Гумилеву:

— Вот какой из вас вырос талантище!

То была болдинская осень Гумилева: самое изобилие стихов, созданных им в эти несколько месяцев, говорило о новых открывшихся перед ним перспективах поэзии.

Как-то на заседание издательства вошел встревоженный А. М. Горький и сообщил, что в зарубежной прессе печатаются

злые измышления о задачах и методах нашей работы<sup>8</sup>. Было решено обратиться в одну из иностранных газет с протестом от лица «Всемирной литературы». Написать этот протест было поручено Гумилеву. Автограф протеста, составленного Гумилевым, сохранился в «Чукоккале».

### Письмо в редакцию

В зарубежной прессе не раз появлялись выпады против издательства «Всемирная литература» и лиц, работающих в нем. Определенных обвинений не приводилось, говорилось только о невежестве сотрудников и неблагоприятной политической роли, которую они играют. Относительно первого, конечно, и говорить не приходится. Люди, которые огулом называют невежественными несколько десятков профессоров, академиков и писателей, насчитывающих ряд томов, не заслуживают, чтобы с ними говорили. Второй выпад мог бы считаться серьезнее, если бы не был основан на недоразумении.

«Всемирная литература» — издательство не политическое. Его ответственный перед властью руководитель, Максим Горький — добился в этом отношении полной свободы для своих сотрудников. Разумеется, в коллегии экспертов, ведающих идейной стороной издательства, есть люди самых разнообразных убеждений, и чистой случайностью надо признать факт, что в числе шестнадцати человек, составляющих ее, нет ни одного члена Российской коммунистической партии. Однако все они сходятся на убеждении, что в наше трудное и страшное время спасение духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал в себе прежде. Не по вине издательства эта работа его сотрудников протекает в условиях, которые трудно и представить себе нашим зарубежным товарищам. Мимо нее можно пройти в молчании, но гикать и улюлюкать над ней могут только люди, не сознающие, что они делают, или не уважающие самих себя.

(Н. Гумилев, по поручению «Всемирной Литературы»)

### III

...Тогда было распространено суеверие, будто поэтическому творчеству можно научиться в десять-пятнадцать уроков. Желающих стать стихотворцами появилось в то время великое множество. Питер внезапно оказался необыкновенно богат всякими литературными студиями, в которых самые разнообразные граждане обоюбого пола (обычно очень невысокой культуры) собирались

в определенные дни, чтобы под руководством хороших (или плохих) стихотворцев изучать технику поэтической речи.

Так как печатание книг из-за отсутствия бумаги в те дни почти прекратилось, главным заработком многих писателей стали эти занятия в литературных кружках. Гумилев в первые же месяцы стал одним из наиболее деятельных студийных работников. И хотя он никогда не старался подольститься к своим многочисленным слушателям, а напротив, был требователен и даже суров, все они с первых же дней горячо привязались к нему, часто провожали его гурьбою по улице, и число их из недели в неделю росло. Особенно полюбили его пролеткультовцы. Те из них, что дожили до нашего времени, и сейчас вспоминают его с самыми светлыми чувствами.

Между тем курс его был очень труден. Поэт изготовил около десятка таблиц, которые его слушатели были обязаны вы зубрить: таблицы рифм, таблицы сюжетов, таблицы эпитетов, таблицы поэтических образов (именуемые им Эйдолологией)\*. От всего этого слегка веяло средневековыми догмами, но это-то и нравилось слушателям, так как они жаждали верить, что на свете существуют устойчивые, твердые законы поэтики, не подверженные никаким изменениям — и что тому, кто усвоит, как следует, эти законы, будет наверняка обеспечено высокое звание поэта. (Счастье, что сам-то Гумилев никогда не следовал заповедям своих замысловатых таблиц.)

Даже его надменность пришлась по душе слушателям. Им казалось, что таков и должен быть подлинный мастер в обращении со своими подмастерьями. Гумилев с самого начала уведомил их, что он «Синдик Цеха поэтов»<sup>9</sup>, и хотя слушатели никогда не слыхали о синдиках, они, увидя его гордую осанку, услышав его начальственный голос, сразу же уверовали, что это очень важный и многозначительный чин. В качестве синдика он, давая оценку тому или иному произведению студийца, отказывался мотивировать эту оценку: «достаточно и того, что ваши строки одобрены мною» или: «ваше стихотворение я считаю плохим, и не стану говорить, почему».

Как это ни странно, студийцам импонировала такая методика безапелляционных оценок. Они чувствовали, что Синдик — властный, волевой человек, что у него сильный и цельный характер, и охотно подчинялись ему.

Ни о чем другом, кроме поэзии, поэтической техники, он никогда не говорил со своими питомцами, и дисциплина на его занятиях была образцовая.

\* Эйдолон (греч.) — образ (прим. авт.).

Мне случалось бывать в том кружке молодых поэтов, которым руководил Гумилев. Кружок назывался «Звучащая раковина», собирался он в большой и холодной мансарде фотографа Наппельбаума на Невском проспекте<sup>10</sup>. Там, усевшись на коврах или на груде мехов, окруженный восторженно внимавшей ему молодежью, главным образом юными девушками, среди которых было несколько очень талантливых, Гумилев авторитетно твердил им об эстетических догматах, о законах поэзии, твердо и непоколебимо установленных им. И в голосе его была повелительность.

Около того времени, кажется, в 20-м году, у него родилась дочь Елена — болезненная, слабая девочка, и перед ним встала задача, почти непосильная в ту пору ни для малых, ни для великих поэтов: ежедневно добывать для ребенка хоть крохотную каплю молока. Мое положение было не легче: семья моя состояла из шести человек, и ее единственным добытчиком был я.

С утра мы с Николаем Степановичем выходили на промысел с пустыми кульками и склянками. (Забуду ли те осенние месяцы, когда вместе с беллетристкой Даманской<sup>11</sup> я вел на станции Разлив по Финляндской железной дороге литературный кружок в общежитии двухсот проституток, собранных с проспектов Петрограда?) Выдавались такие месяцы, когда в неделю мне приходилось вести одиннадцать литературных кружков — в том числе в Горохре (Городская охрана), в Балтфлоте, в артели инвалидов, в Доме Искусств. Гумилев вел кружки в Пролеткульте, в Институте живого слова, в «Звучащей раковине» и проч. Мы оба — у военных курсантов.

В «Чукоккале» об этом массовом насаждении литературных кружков сохранилась такая эпиграмма известного пушкиниста Николая Осиповича Лернера<sup>12</sup>, работавшего во «Всемирной литературе» в качестве библиографа:

Широкий путь России гению  
Сулят счастливые ауспиции\*.  
Уж Гумилев стихосложению  
Китайцев учит из милиции,

Некрасова аллитерации  
Пред молчаливыми эстонцами  
Поет Корней. Версификации  
Век следует за сими солнцами.

В «Чукоккале» сохранилась обращенная ко мне насмешливая «ода» Владимира Познера<sup>13</sup>:

\* Ауспиции — предзнаменования, виды на будущее (прим. авт.).

**КОРНЕЮ ЧУКОВСКОМУ**  
(ода акростих)

*Подражание Брюсову*

Крутим потоком словоблудий  
О, страж критической мечты,  
Рукой железной сотни студий  
Неумолимо держишь ты.

Едва-ль прервешь свою работу.  
Юлят бессильные враги.  
Чуть свет к Горохру иль Балтфлоту  
Устремлены твои шаги.

Кипят «Всемирные» усилья.  
Отличен англофильский вид —  
Ведь над тобой, простерши крылья,  
Старик проснувшийся парит\*.

Кипи, бушуй и став неистов,  
Отбросив лишний разговор,  
Меж многочисленных студистов  
Устрой критический разбор.

20 марта 1920            *Владимир Познер*

Были литераторы, несклонные к лекционной работе, и потому считавшие ее удручительно тягостной. Один из них пожаловался на странице «Чукоккалы»:

Не живем на свете, маемся,  
Как в подполице глухой.  
Вместо дела занимаемся  
Подневольной чепухой.

Но Гумилев был несклонен к малодушному ропоту. Иногда мне казалось, что он даже как будто радуется широкой возможности приобщить молодежь к поэзии, хотя, конечно, в глубине души предпочел бы всецело отдаться своему призванию поэта. Каждую свободную минуту он возвращался к литературной работе: создавал новые циклы стихов, переводил «Орлеанскую девственницу» Вольтера (вместе с Георгием Ивановым под редакцией Мих. Лозинского), целыми ночами работал над переводами своего любимого Соути, баллад о Робине Гуде и т. д.<sup>14</sup>

Может быть здесь будет уместно отметить, что Александр Блок относился к этим стиховедческим студиям враждебно. «О моло-

\* Об этом благодушном старике, приходившем в нашу Студию выпастыся, я говорил в своих воспоминаниях о Зощенко (*прим. авт.*).

дежи, которая тянулась к гумилевскому “Цеху поэтов”, он говорил, что у них фабричное производство стихов... Он считал, что поэту нужна общая культура, нужны знания, но нельзя “научить писать стихи”, а студийцы воображают, что здесь-то они и научатся этому делу», — пишет Надежда Павлович в ее проникновенных воспоминаниях о Блоке.

#### IV

Натура энергичная, деятельная, отлично вооруженная для житейской борьбы, Гумилев видел даже какую-то прелесть в роли конкистадора, выходящего всякий день за добычей.

На первый взгляд он был хрупок и слаб, но мускулы у него были железные. В этом я не раз убеждался, любуясь, с каким профессиональным искусством действует он тупым топором, рубя на топливо вместе с другими счастливыми уцелевший каким-нибудь чудом деревянный забор, быстро превращенный ими в промерзлые, занозистые щепки.

Однажды с нами случилась беда. К годовщине Октябрьских дней военные курсанты, наши слушатели, получили откуда-то много муки. Каждому из нас, «лекторов», они выдали не менее полупуда. Весело было нам в этот предпраздничный день везти через весь город на своих легких салазках такой неожиданный клад. Мы бодро шагали рядом и вскоре где-то близ Марсова поля завели разговор о ненавистных Гумилеву символистах.

В пылу разговора мы так и не заметили, что везем за собою пустые салазки, так как какой-то ловкач, воспользовавшись внезапно разыгравшейся вьюгой, срезал наши крепко прикрученные к салазкам мешки. Я был в отчаянии: что скажу я дома голодной семье, обреченной надолго остаться без хлеба?

Но Гумилев, не теряя ни секунды на вздохи и жалобы, сорвался с места и с каким-то диким и воинственным криком ринулся преследовать вора, — очень молодо, напористо, с такой безоглядой стремительностью, с таким, я сказал бы, боевым упоением, словно только и ждал той минуты, когда ему посчастливится мчаться по снежному полю, чтобы отнять свое добро у врага.

Кругом было темно — из-за вьюги. Сквозь тусклую и зыбкую муть этого мокрого снежного шквала люди — даже те, что брели по ближайшей тропе, — казались пятнами без ясных очертаний.

Гумилев мгновенно стал таким же пятном и исчез. Я ждал его в тоске и тревоге.

Вернулся он очень не скоро и, конечно, ни с чем, но глаза его сияли торжеством.

Оказывается, в этой мгле он налетел на какого-то мирного прохожего, который *нес свой собственный мешок* на спине, и, приняв его за нашего вора, стал отнимать у него этот мешок. Прохожий со своей стороны принял его за грабителя: громко закричал караул, и у них произошла потасовка, которая хоть и кончилась победой прохожего, доставила поэту какую-то мальчишескую — мне непонятную — радость. Он воротился ко мне триумфатором, и взяв за веревочку пустые салазки, тотчас же возобновил свою обвинительную речь против символизма, против творчества Блока, которую всегда начинал одной и той же канонической фразой:

— Конечно, Александр Александрович гениальный поэт, но вся система его германских абстракций и символов...

И больше о нашей катастрофе ни слова.

Я напомнил ему, что в «Аполлоне» минувших времен \* он отзывался о поэзии Блока восторженно, называл его «чудотворцем стиха». Он ответил, что любит блоковскую поэзию по-прежнему, но эта поэзия призраков, туманностей, скорбей и рыданий и т. д., и т. д., и т. д. Нужно ли говорить, что я был всецело на стороне Блока, когда слушал бесконечные споры Гумилева и Блока во «Всемирной литературе».

Весь этот боевой эпизод, происшедший на Марсовом поле — эта смелая погоня за мнимым грабителем и отчаянное сражение с ним (хотя тот и оказался гораздо сильнее), все это раскрыло передо мною самую суть Гумилева. То был воитель по природе, человек необыкновенной активности и почти безумного бесстрашия. Все мы знали, что на Германскую войну он ушел добровольцем, едва лишь услышал первое сообщение о ней, и за смелость, проявленную им в кровопролитных боях, получил два солдатских Георгия.

Знали мы и о том, что безусым мальчишкой, только что со школьной скамьи, он тайком от родителей убежал почти без копейки в свою любимую Африку (1907)<sup>15</sup> и что впоследствии, чуть только ступил на литературное поприще, снова умчался туда — на этот раз в самую глубь континента — в Эфиопию — охотиться за слонами и львами — путешествие тягостное в те времена, когда не было ни радио, ни самолетов, ни автомашин.

Кроме того, он с самыми скудными средствами тогда же успел побывать и в Италии, и в Греции, и в Англии, то есть буквально исколесил всю Европу — непоседа, странник, охотник, боец.

\* «Аполлон», 1912, № 8, с. 69—70 (прим. авт.).

Мне вспоминаются чьи-то стихи — всего четыре строчки из большого послания, обращенного к нему:

На львов в агатной Абиссинии,  
 На немцев в каиновой войне  
 Ты шел — глаза холодно синие  
 Всегда вперед и в зной и в снег.

Вообще это был человек средневековых понятий, догматик, порою педант, превыше всего ценивший средневековые доблести. Помню, меня несколько ни удивило, когда я узнал, что Гумилев, стряхнув с себя наслоение XX века, дрался на дуэли для восстановления своей поруганной чести, и что в этой дуэли была замешана женщина, под мифическим именем феодальной герцогини Чебурины де Габриак. Дуэль эта шла к Гумилеву, была, что называется, ему к лицу. Без дуэли его биография никак не могла обойтись. Состоялась дуэль под Петербургом, на одной из загородных пустошей, в глубоком снегу. О ней, к сожалению, провела столичная пресса и долго глумилась над всеми участниками этого дела, особенно над Гумилевым. Между тем для него это было далеко не пустяк. С величайшим презрением к опасности Гумилев требовал, чтобы между ним и противником было расстояние в пять шагов, то есть подвергал себя и противника величайшему риску. Только счастливой случайностью объясняется то, что поединок не закончился трагически. И все же хроникеры газет видели здесь только смешное\*.

Вообще в обывательской среде к Гумилеву почему-то очень долго относились недоверчиво и даже насмешливо. Кроме как в узких литературных кругах, где его любили и чтили, его личность ни в ком не вызывала сочувствия. Этим его литературная судьба была очень непохожа на судьбу его первой жены, Анны Ахматовой. Критики сразу признали ее, стали посвящать ей не только статьи, но и книги. Он же — и это очень огорчало его — был долгое время окружен каким-то злорадным молчанием.

Помню: стоит в редакции «Аполлона» круглый трехногий столик, за столиком сидит Гумилев, перед ним груда каких-то пушистых, узорчатых шкурок, и он своим торжественным, немного напыщенным голосом повествует собравшимся (среди которых было много посторонних), сколько пристрелил он в Абиссинии разных диковинных зверей и зверушек, чтобы добыть ту или иную из этих экзотических шкурок.

\* Об этой дуэли мне как-то — много позднее — рассказывала и эта женщина, и М. Волошин, и Гумилев; и я, если буду жив, непременно расскажу о ней со всеми подробностями (*прим. авт.*).

Вдруг встает редактор «Сатирикона» Аркадий Аверченко<sup>16</sup> — неутомимый остряк, и заявив, что он внимательно осмотрел эти шкурки, спрашивает у докладчика очень учтиво, почему на обороте каждой шкурки отпечатано лиловое клеймо петербургского городского ломбарда. В зале поднялось хихиканье — очень ехидное, ибо из вопроса сатириконского насмешника следовало, что все африканские похождения Гумилева — миф, сочиненный им здесь в Петербурге\*.

Гумилев ни слова не сказал остряку. На самом же деле печати на шкурках были поставлены отнюдь не ломбардом, а музеем Академии Наук, которому пожертвовал их Гумилев<sup>17</sup>.

Тогда я не понимал, но впоследствии понял, что его надменное отношение к большинству окружающих происходит у него не от спеси, а от сознания своей причастности к самому священному из существующих искусств — к поэзии, к этой (как он был уверен) высшей вершине одухотворенной и творческой жизни, какой только может достигнуть человек.

Слово ПОЭТ Гумилев в разговоре произносил каким-то особенным звуком — ПУЭТ — и чувствовалось, что в его представлении это слово написано огромными буквами, совсем иначе, чем все остальные слова.

Эта вера в волшебную силу поэзии, «солнце останавливавшей словом, словом разрушавшей города»<sup>18</sup>, никогда не покидала Гумилева. В ней он никогда не усомнился. Отсюда, и только отсюда то чувство необычайной почтительности, с которым он относился к поэтам и раньше всего к себе самому, как к одному из носителей этой могучей и загадочной силы.

Знаменательно, что при всем своем благоговении к поэзии он не верил ни в ее экстатическую, сверхреальную сущность, ни в мистическую природу ее вдохновений. Поэт для него был раньше всего умелец, искусник, властелин и повелитель прекрасных и сладостных слов. Поэтому при создании стихов он любил задавать себе, как мастеру слова, труднейшие формальные задачи. В каждой строке его ранней поэмы «Открытие Америки» звучат лишь две троекратные рифмы, причем комбинации этих рифм в каждой строфе — иные, так что к концу поэмы оказываются

---

\* Уже одно это показывает, с каким глумлением относилась к Гумилеву так называемая широкая публика. Характерно, что тот же «Сатирикон» напечатал около этого времени свою знаменитую картину «Салон ее светлости русской литературы», где представлены даже такие пигмеи, Будищев и Рославлев, и не нашлось места для Николая Гумилева (*прим. авт.*).

исчерпаны чуть ли не все математические возможности сочетания троекратных созвучий.

«Открытие Америки» не принадлежит к числу лучших произведений поэта: последние ее строфы он впоследствии не перепечатывал в своих поэтических сборниках, но этих забот о формальных «изысках» он не оставил никогда. Как-то в 1912 году, еще до военных времен, он приехал ко мне в Куоккалу и, перелистывая мой альманах, пренебрежительно отозвался об имеющихся в нем акростихах, как о слишком легкой поэтической форме, и заявил, что на этих страницах он готов решить более трудную литературную задачу: написать стихи, которые у средневековых поэтов назывались «Крестом»: в тексте стихотворения должны перекрещиваться мое имя с именем моей жены, Марии Чуковской<sup>19</sup>. Созданию этого «Креста» он посвятил не более получаса — и блестяще справился с трудной задачей, хотя самый текст «Креста» вполне оправдал его опасения:

Увы, наверно выйдет стих урод.

Стих, главным образом во второй половине, вышел действительно неуклюж и нескладен, но нельзя же не учитывать величину тех препон, которые перед собой поставил поэт.

Привожу факсимиле этого стихотворения:

Корней Иванович Чуковский, вот  
 Попал я к босоногим дикаряМ,  
 КорМлю собой их я и повар сАм.  
 Увы, Наверное выйдет стих уРод.  
 КорнЕй, меня срамите Вы. Иона  
 ВернЕй нашел приют средь рыбЬЯ лона!  
 А я, увы к Чуковскому попав,  
 Добыча я ЧУКовского забав,  
 Вот кит, УслОжнивши пищеваренье,  
 Желудок к тВоему не приравнял,  
 И вернО им Совсем не управлял,  
 Но ты ВелиК: какое несваренье  
 Тебя Сомнет?! Иона будет труп,  
 Но Кажется попал тебе, ЧуковскийИ  
 НА зуб, на твой огромный, страшный зуб,  
 Я — не Иона — я же не таковский.

*Н. Гумилев.*

Перебирая его (немногие!) письма ко мне, я нахожу в них очень характерную строчку. В 1912 году, после того, как я уговорил редакцию «Нивы» напечатать одно из его стихотворений, он написал мне, что едет во Флоренцию и чтобы я прислал ему туда гонорар 9 рублей 50 копеек, из чего я увидел, как ничтожен был

его бюджет во время его заграничных поездок. Он умудрялся посещать Испанию, Англию, Швецию, Алжир, Абиссинию с жалкими грошами в кармане, каких иному обывателю не хватило бы для переезда на подмосковную дачу. Здесь сказалась житейская хватка Николая Степановича, его необычайно трезвый, расчетливый, предприимчивый ум. Он потому и мог приводить в исполнение свои романтические мечты и порывы, что житейская практичность никогда не изменяла ему, и вряд ли его Муза могла бы стать «Музой дальних странствий», если бы не эта свойственная Гумилеву крепкая житейская хватка.

Но я снова оторвался от «Чукоккалы». Между тем на ее страницах есть еще одна запись Гумилева — о поэзии Некрасова, казалось бы чужой и даже враждебной ему. Велико было мое удивление, когда Гумилев высказал о творчестве великого поэта такие неожиданно глубоко продуманные мысли.

1. Любите ли Вы стихотворения Некрасова?

— Да. Очень!

2. Какие стихи Некрасова вы считаете лучшими?

— Эпически-монументального типа: Дядя Влас, Адмирал вдовец, Генерал Федор Карлыч фон Штубе, описание Тарбагатай в «Саше», Княгиня Трубецкая и др.

3. Как Вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?

— Замечательно глубокое дыхание, власть над выбранным образом, замечательная фонетика, продолжающая Державина через голову Пушкина.

4. Не было ли в вашей жизни периода, когда его поэзия была для вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?

— Юность: от 14-16 лет.

5. Как вы относились к Некрасову в детстве?

— Не знал почти, а что знал, то презирал из-за эстетизма.

6. Как относились вы к Некрасову в юности?

— Некрасов пробудил во мне мысль об возможности активного отношения личности к обществу. Пробудил интерес к революции.

7. Не оказал ли Некрасов влияния на ваше творчество?

— К несчастью, нет.

8. Как вы относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова «поэзия и не ночевала»?

— Прозаик не судья поэту.

## 9. Каково ваше мнение о народолюбии Некрасова?

— *У Некрасова к народу отношение иностранца. Не виновата ли в этом его польская кровь?\**

## 10. Как вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?

— *Ведь в его безнравственности лишнее доказательство его сильного темперамента<sup>20</sup>.*

Вообще все его разговоры со мной до последних дней жизни касались только литературы. Было похоже, что других интересов у него нет. В «Чукоккале» сохранилась его запись по поводу своеобразного стиля стихов поэта Ивана Рукавишникова<sup>21</sup>. Я знал Рукавишникова еще с 1902 года. В Петербурге он некогда жил по соседству со мной на Коломенской улице и несокрушимо считал себя гением. Выходец из богатой купеческой семьи, он писал кривые сумасбродные вирши и печатал их на собственные средства на великолепной бумаге, тратя на это свои последние деньги. Стихи были хаотичны, без рифмы и ритма. Я по своему любил его за преданность искусству и за добровольную бедность.

Найдя у меня одну из книг Ивана Рукавишникова, Гумилев выписал из нее в «Чукоккалу» несколько строк, которые показали ему наиболее забавными.

### ИЗ ИВАНА РУКАВИШНИКОВА

И день — не день, и ночь — не ночь,  
И снег — не снег, и мир — не мир,  
И Бог — не Бог... Лишь ужас — ужас!

*Открыто Ириной Одоевцевой и Н. Гумилевым.  
Записано Гумилевым в марте 1921 г.*

Ирина Одоевцева была одной из его наиболее талантливых студисток<sup>22</sup>. Под влиянием поэта она написала в «Чукоккалу» балладу из жизни петроградских спекулянтов-мешочников.

### ТОЛЧЕНОЕ СТЕКЛО

*Баллада*

Солдат пришел к себе домой,  
Считает барыши:  
— Ну, будем сыты мы с тобой,  
И мы и малыши.

\* Позднейшими исследователями установлено, что мать Некрасова была украинкой (*прим. авт.*).

Семь тысяч! Целый капитал!  
 Мне здорово везло.  
 Сегодня в соль я подмешал  
 Толченное стекло.

Жена вскричала: Боже мой!  
 Убийца ты и зверь!  
 Ведь это хуже чем разбой:  
 Они помрут теперь.

Солдат в ответ: Мы все попрем,  
 Я зла им не хочу,  
 Сходи-ка в церковь вечерком,  
 Поставь за них свечу.

Дальше баллада развивается в духе традиционных романтических баллад: есть и кладбище, и призраки, и воронье, и покойники, и все это написано романтическим балладным стихом, по всем канонам Бюргера и Уланда<sup>23</sup>.

Одно из высказываний Гумилева записано в «Чукоккале» не им, а мною. Прослушав одну из моих лекций, он сказал, что я вообще — человек хореический<sup>24</sup>, и что если бы я писал «Евгения Онегина», у меня получилось бы такая строфа:

Дядя самых честных правил,  
 Как не в шутку занемог,  
 Уважать себя заставил, —  
 Лучше выдумать не мог.

Вот и все, что сохранилось в «Чукоккале» от моего знакомства с Гумилевым.

